

Село Степанчиково и его обитатели

Автор:

Федор Достоевский

Село Степанчиково и его обитатели

Федор Михайлович Достоевский

«Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на все согласнее...»

Федор Михайлович Достоевский

Село Степанчиково и его обитатели

из записок неизвестного

Часть первая

I. Вступление

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как

будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез: он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русый усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом, говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливая горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж, единственно чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже

предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожителства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пансиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя сажеными лакеями, которые никогда ничего от него не слышали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем – генеральша.

В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, – словом, она извлекала из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвиrne»? – и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечи, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал, как баба, ругался, как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя – объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба – ни более ни менее. Откуда он взялся – покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что наконец он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; это был человек великий, непонятный и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил – трудно представить неспециалисту в подобных делах.

Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, – за что? – неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных иван-яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец все переменялось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, – одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для непрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, – подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные – разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе

подавание под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово нога, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

– Каково же будет вам, – говорил Фома, – если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет и в самом деле испрашивать себе подавания? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой – но ведь это может случиться – под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то – позвольте это вам сказать откровенно, полковник, – всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только попробует жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в

качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозревая к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и наконец дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, – прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

– Жестокий сын! – кричит генеральша, очнувшись. – Ты растерзал мои внутренности... *mes entrailles mes, entrailles!*[1 - Мои внутренности (франц.).]

– Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? – робко возражает полковник.

– Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

– Ну, да ведь она, братец, *grande dame*,[2 - Светская дама (франц.).] генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но, уж конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

– Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

– Это, брат, девица Перепелицына, – замечает полковник своему слушателю, – превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама полковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка веред прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заморозил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят:

откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан: а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104 году» и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться – вот была главная потребность его! Его не хвалили – так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове,

когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, – говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, – не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда – горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы – огорченного литератора, из Фомы – шута из насущного хлеба, из Фомы – в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствий? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали – и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались – и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только рассказы, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности – это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества

испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, и при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других – их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был и слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был, единственно когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости – «чтоб уж так... чтоб уж все были довольны и счастливы!». Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом – ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое, – идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для умирения его

необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

– Я, братец, сам виноват, – говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, – во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось – у меня часто с языка срывается... Ну и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо – словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутках у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью утешать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его – сластолюбив, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок – и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

– Сочинение пишет! – говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. – Не знаю, что именно, – прибавлял он с гордым и таинственным видом, – но, уж верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувыркалегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет – сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблій, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

– А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? – спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

– А тебе какое дело, пехтерь? – отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. – Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

– Отец ты наш... – подхватил другой мужичок, – ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, – как и величать-то тебя, не ведаем.

– Пехтерь! – повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. – Жалованье жалованью розь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, – значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на

погорелых жителей Казани пожертвовал.

– Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? – продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

– Ну да, и моя там есть доля, – отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого человека таким разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

– Прежде кто вы были? – говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. – На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

– Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнетя, жметя и не знает, что предпринять.

– Позвольте вам заметить, что я жду, – замечает Фома обидчивым голосом.

– Mais repondez donc,[3 - Да отвечай же (франц.).] Егорушка! – подхватывает генеральша, пожимая плечами.

– Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра или нет? – снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

– Ей-богу, не знаю, Фома, – отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, – должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

– Хорошо! так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, – вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

– Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

– Нет, вы именно это хотели сказать.

– Да клянусь же, что нет!

– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это – я все перенесу...

– Mais, mon fils...[4 - Но, сын мой (франц.).] – вскрикивает испуганная генеральша.

– Фома Фомич! маменька! – восклицает дядя в отчаянии. – Ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп – сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! – продолжает он, махая рукой. – Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек... ну и все там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен, как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

– Да, вы-таки эгоист! – замечает удовлетворенный Фома Фомич.

– Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

– Дай-то бог! – заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитывал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевика, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу

составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романической своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка – прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупно, нехотя и заметно уклонялся от подобных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, – так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, – осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выдаю необыкновенное великодушие, благородно

жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, – словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с созревающим хлебом... А я так долго сидел закупоренным в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

II. Господин Бахчеев

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело повернулся ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но, уж конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

– Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. – закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между баринном и слугой немедленно произошло объяснение.

– Выпорешь! ори еще больше! – проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить к коляске.

– Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.

– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

– Да за что я буду ворчать?

– За что ворчать... А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот за что.

– А мне что! По мне хоть совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

– Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

– А не на них, так на экипаж ворчу.

– А на экипаж чего ворчать?

– А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

– На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

– Да что вы, сударь, в самом деле пристали? Отстаньте, пожалуйста!

– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, – а? Говоришь же в другие разы!

– Муха в рот лезла – оттого и молчал и сидел сычом. Что, я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявших без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Grimасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

– Да это Васильев? – спросил он с участием. – Да как он туда попал?

– Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! – закричали со всех сторон.

– Загулял, сударь, – прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, – загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

– Эх, Архипушка! деньги – голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, – молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

– Да сиди ты, идол, благо попал! – сурово отвечал Архип. – Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли Бога – спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

– Да стамеска-то где?

– Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

– Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! – прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

– А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, – прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. – Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

– Народу-то, народу-то! – проговорил он, качая головой. – И всё, чай, тре...звые, – протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. – Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

– С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

– Ври, Емеля, – твоя неделя!

– По-нашему, хоть на час, да вскачь!

– Хе-хе-хе! Ишь краснобаи! – вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха, и снова взглянул на меня приветливо. – И не стыдно тебе, Васильев?

– С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, – отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

– С какого же горя, дурак?

– А с такого, что досель и не видавали: Фоме Фомичу нас записывают.

– Кого? когда? – закричал толстяк, весь встрепенувшись.

Я тоже ступил шаг вперед; дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

– Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, – дай бог ему здоровья – всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет: целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят – только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, – продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, – потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при

милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся; маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

– Этого не доставало! – проговорил он задыхаясь. – Ракалья, Фома, приживальщик в помещики! Тьфу! пропадите вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

– Позвольте спросить вас, – сказал я, нерешительно выступая вперед, – сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я...

– А позвольте и вас спросить, – прервал толстый господин, – с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракалей анафемской – вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я – Сергей Александрович такой-то.

– Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! – вскричал толстяк, нелицемерно обрадовавшись. – Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за пудинга встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчеев и вас вот эдаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?... А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к рассказам: случай был превосходный.

– Но кто ж этот Фома? – спросил я. – Как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? Признаюсь...

– Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середины на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот на столечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

– Я слышал это, но, признаюсь...

– Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь все рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется – за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клокчет как курица – надоела мне совсем – ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушка она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок – всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, – тьфу!

– Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

– Фома-то? писанный красавец! – отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) – Писанный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, – ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово или нет?

– Воронка еще перековать надо, – промолвил мрачно Григорий.

– Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! тата-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, все будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый – больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат – больше ничего! А по моему, графин водки выпил – вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось и вы по-французски: «та-та-та! та-та-

та! вышла кошка за кота!» – прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. – Вы, батюшка, человек ученый – а? по ученой части пошли?

– Да... я отчасти интересуюсь...

– Чай, тоже все науки произошли?

– Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

– А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

– Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще не понимаю, – отвечал я, теряясь все более и более.

– То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться – непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его – тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

– Да я б его, Видоплясова, – ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, – да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

– Молчать! – крикнул барин. – Держи язык за зубами, не с тобой говорят!

– Видоплясов, – сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить. – Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

– А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!

Я потерял терпение.

– Извините, – сказал я, – но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

– Да вы, батюшка, чего обижаетесь? – отвечал толстяк. – Нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня – откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, – продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, – ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем – вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлеба поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!), он мне друг; он меня благодарию учит. Ну, думаю, против благодария не пойдешь! Уж коли благодария зачал учить – значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы

думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает – превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь – обидеться может, а поздравь – пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

– Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

– То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

– Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

– То есть как это, батюшка, записать? – спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

– Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.

– Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

– То есть как это обольстить? – спросил я с удивлением.

– Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня.

– То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

– Позвольте спросить, – прервал я, отчасти желая переменить разговор, – скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

– Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачуло; не это скверно, а другое скверно... – прибавил господин Бахчеев в задумчивости. – Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на все село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

– Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придирааться, благодарию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж бог устроил,

Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь – как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты все дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну – все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут – что тогда?» Ну, скажите, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон»[5 - Свинья (франц. – cochon).] говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при все честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», – сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: пудингом тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!...»

– Извините меня, – сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, – я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

– Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? – недоверчиво спросил господин Бахчеев.

– Видите ли, – начал я, несколько путаясь, – оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую – кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

– Это Фомка-то такой особенный человек? – спросил он отрывисто.

– Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки...

– А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

– То есть в каком смысле? – спросил я с недоумением.

– Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смысла отвечайте: обучались вы философии или нет?

– Признаюсь, я намерен изучать, но...

– Ну, так и есть! – вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. – Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай все на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! – закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. – Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, подойдя к коляске, – вы уж более не приедете к дядюшке?

– К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек!

Недели не пройдет, а я опять туда поплечусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне Господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однако ж, расстались по-дружески, он даже пригласил меня к себе обедать.

– Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонись ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уже не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, – подумал я, – он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко задумался.

III. Дядя

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выпросить и прежде всего

наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянную дверь прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

– Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? – спросил я старика.

– Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, – печально отвечал Гаврила.

– Сам Фома учит?

– Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

– Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

– По китрадке, батюшка.

– Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами – ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки дается – не стыдно ли, Гаврила? – вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

– Где же, батюшка, – отвечал старик, – где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

– Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, – пробормотал я, приостановленный этим замечанием. – Веди же меня к дядюшке!

– Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он приходит изволит.

– Да чего же ты боишься?

– Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоём же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

– Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

– Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человечек.

– Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

– А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

– Да зачем же за конюшнями?

– Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына,

избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал и теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

– Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! – говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. – Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да наконец, и торговля, промышленность – эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно – не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

– Вот подожди, друг мой, подожди, – начал он, потирая руки и скороговоркою, – увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

– Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

– Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, – прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

– Какими же он науками занимается, дядюшка?

– Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, – прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, – немного эдак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе все как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

– Послушайте, дядюшка, – прервал я его, – я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

– Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, – и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, – выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, – ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, – всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

– Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? – вскричал я почти в восторге.

– И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, – прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. – Это, брат, такой человек...

– Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! – завопили вдруг мужики целым хором. – Вы отцы, а мы ваши дети!

– Послушайте, дядюшка, – отвечал я. – Фому Фомича я еще не видал, но... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал...

– Именно, именно, – подхватил дядя, – именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски, дружески, основательно! Ну, – продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, – теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

– Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! – закричали еще раз мужики.

– Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

– А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

– Так неужели он и вас по-французски учит? – вскричал я почти в испуге.

– Нет, батюшка, покамест еще миловал Бог! – отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. – Нет, сударь, покамест еще миловал Бог.

– Да чему ж он вас учит?

– А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

– То есть как это медный грош?

– Сережа! ты в заблуждении; это клевета! – вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. – Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про все поминать, горло драть, – продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, – тебе ж, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь, да и кричишь!

– Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

– Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, – проговорил дядя каким-то просительным голосом. – Он это сам говорил, что для произношения... Потом же тут случилась одна особенная история – ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

– Да вы-то чего! – закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. – Вы бы ему так все прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

– Где тамышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чисто ты не воскреснешь, с погани не треснешь.

– А вот анамедни на гумно пришел, – заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и все время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. – На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашенская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все Божии планиды узнал».

– Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? – вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

– Да, сказал сколько-то много, – нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

– Ну, а сколько сказал, сколько именно?

– Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

– Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

– Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

– То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля – это, видишь, как шар круглый, – понимаешь?.. – продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

– Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это все капитан Кук, мореход... А черт его знает, кто и открыл, – прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. – Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

– Знаю, дядюшка, – отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, – только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но с другой стороны... учить крестьян астрономии...

– Именно, именно, именно неряшество! – подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. – Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, – закричал он мужикам, – необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить – это ничего. Это, брат, уже все равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставлю.

– Защити, отец родной!

– Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

– Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там все... Знаешь, – сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя от радости, – любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, – а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

– Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.

– Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, – прибавил он, как бы извиняясь. – А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак радуешься на него. Только, знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал.

– Ну вот, дядюшка, я и приехал! – начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. – Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

– Друг мой, ни слова об этом! – перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос. – После, после это все объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

– Передо мной виноваты, дядюшка?

– После, после, мой друг, после! все это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

– На меня? – спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. – На меня?

– На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное почтителен...

– Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

– Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Сережа, как это все меня беспокоит! И как бы это все могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

– Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

– Эх, брат! все это только дразги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

– Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, – перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. – Во-первых, он был шутком: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству... Но если примирить его с человеком, если возвратить его самому себе...

– Именно, именно! – вскричал дядя в восторге. – Именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

– Дядюшка, если так... – начал было я, смутись от такого признания.

– Ни-ни-ни! ни за что на свете! – закричал он, схватив меня за руки. – Ты мой гость, и я так хочу!

Все это чрезвычайно меня удивляло.

– Дядюшка, скажите мне сейчас же, – начал я настойчиво, – для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

– Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и... и... и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! – прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. – Но довольно, ни слова больше! Все сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузиться.

– Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

– Что, немножко трусишь? – прервал дядя с улыбкою. – Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, – начал он торопливо. – Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий – это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь, что называется, *grande dame*, генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом – стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама полковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое – ты, главное, на сердце смотри – пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иванович Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он

недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слышал ли от него здесь кто и слово? все молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» – ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и вдобавок превосходной нравственности; строгая мораль! Ну и, наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница – ты ее не знаешь, – девица, немолодая – в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души – понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

– Послушайте, дядюшка, – сказал я, – я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

– Да ты от кого слышал? – отвечал он, покраснев, как ребенок. – Вот видишь, друг мой, я тебе все расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает – и за дело, за дело: он много для нее сделал, – все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают – я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь – я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и

неприменно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

– Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

– Поможет, друг мой, поможет, – это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват – я понимаю все это; я не бесчувственный. Ну, да все же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь – вот что!..

– Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

– В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! а я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, – а? разве уж потом, если захочешь что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся...

– Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...

– Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! – перебил он меня совсем неожиданно. – Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты приедешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того,

что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя все еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам, – неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, – думал я, – нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что все это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

– Аделаидина цвета извольте галстух надеть или этот, с мелкими клетками? – спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные белобрысы и жидкие волосы его были завиты в кудри и на помажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми,

длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал буквы р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, subtilностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

– Так этот галстух аделаидина цвета? – спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

– Аделаидина-с, – отвечал он с невозмутимой деликатностью.

– А аграфенина цвета нет?

– Нет-с. Такого и быть не может-с.

– Это почему?

– Неприличное имя Аграфена-с.

– Как неприличное? почему?

– Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

– Да ты с ума сошел или нет?

– Никак нет-с, я при своем уме-с. Все – конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

– Да тебя как зовут?

– Видоплясов.

– А! так это ты Видоплясов?

– Точно так-с.

– Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на бедлам», – подумал я про себя, сходя вниз.

IV. За чаем

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещения дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствующих. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не dokonчил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

– Здравствуйте, дядюшка, – проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте».

– Здравствуй, здравствуй, братец, – отвечал страдавший за меня дядя, – ведь мы уж здоровались. Да не конфузься, пожалуйста, – прибавил он шепотом, – это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, – добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, – которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, – не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимую непринужденность. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъясвлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный брат, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во все время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично – на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, – о которой будет особая речь впоследствии, – но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядом у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, наруганная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и

беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видно, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, – моя кузина Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантазмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мною, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я

еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мои внутренности (франц.).

2

Светская дама (франц.).

3

Да отвечай же (франц.).

4

Но, сын мой (франц.).

5

Свинья (франц. – cochon).

Купить: <https://tellnovel.com/fedor-dostoevskiy/selo-stepanchikovo-i-ego-obitateli>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)